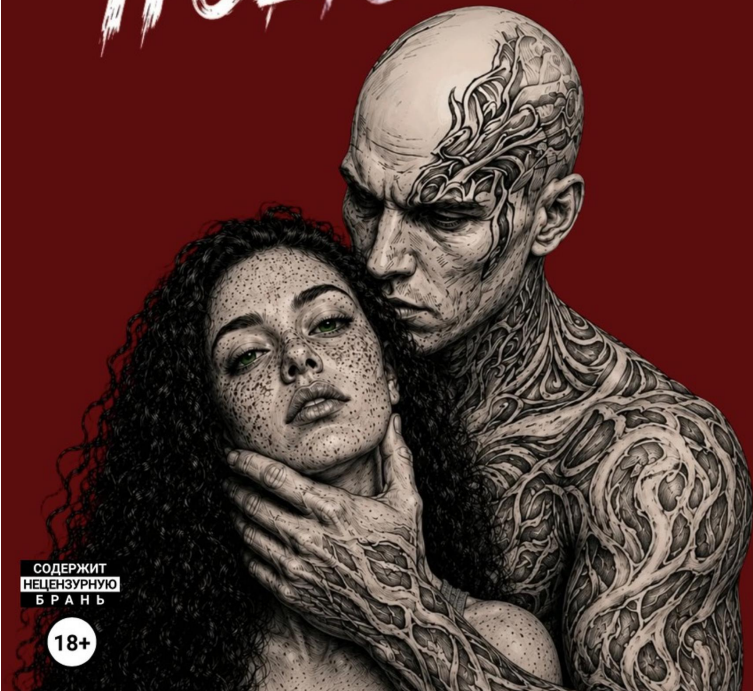


Л И Д И Я М О Р И С

ЭТО ПОДОБИЕ



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Лидия Морис

ЕГО ПОДОБИЕ

<https://litres.ru/74137512>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она — пламя без тормозов. Он — спичка в зубах. Вместе режим самоуничтожения, где «мое» звучит как приговор, а нежность, как пощечина. Каждый шаг торговля силой, каждый вдох приказ. Это не любовь. Это одержимость, клеймо и право владеть до боли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ В КНИГЕ СОДЕРЖАТСЯ:

- УПОМИНАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.
- НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА.
- ЖЕСТОКИЕ СЦЕНЫ НАСИЛИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАНИЕ УБИЙСТВ.
- СЦЕНЫ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО НАСИЛИЯ.

ЕСЛИ ТЕМЫ НАСИЛИЯ, ЗАВИСИМОСТЕЙ, СЕКСУАЛЬНЫХ НАТУРАЛИСТИЧНЫХ СЦЕН МОГУТ НЕГАТИВНО ОТРАЗИТЬСЯ НА ВАШЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЛИБО ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАКОМЫ С ЖАНРОМ «ДАРК РОМАН», РЕКОМЕНДУЮ ОТНЕСТИСЬ К КНИГЕ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ ИЛИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРОЧТЕНИЯ.

Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	4
ПРОЛОГ	6
ГЛАВА 1 «ПАРАДНЫЙ ВХОД В ПРЕИСПОДНЮЮ»	10
ГЛАВА 2 «МЯСНАЯ УТОПИЯ»	20
ГЛАВА 3 «ЦЕНА ВЫДЕРЖКИ»	34
ГЛАВА 4 «ПЕДАГОГИКА БОЛИ»	42
ГЛАВА 5 «ДЮЙМ ТИШИНЫ»	56
ГЛАВА 6 «НЕ ДОЛГ, А СМЫСЛ»	65
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Лидия Морис

ЕГО ПОДОБИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ПЕРЕД ВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ЖАНРЕ ДАРК РОМАН.

В КНИГЕ СОДЕРЖАТСЯ:

– УПОМИНАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

– НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА.

– ЖЕСТОКИЕ СЦЕНЫ НАСИЛИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ОПИСАНИЕ УБИЙСТВ.

– СЦЕНЫ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО НАСИЛИЯ.

АВТОР НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ДЕЙСТВИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ГЕРОЕВ, А СТРЕМИТСЯ ПОКАЗАТЬ МРАЧНУЮ СТОРОНУ РЕАЛЬНОСТИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРСОНАЖЕЙ.

ИСТОРИЯ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО ТЯЖЁЛОЙ И ПРОВОКАЦИОННОЙ.

ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ БЕРЕЖНЫ К СЕБЕ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ.

ЕСЛИ ТЕМЫ НАСИЛИЯ, ЗАВИСИМОСТЕЙ, СЕКСУАЛЬНЫХ НАТУРАЛИСТИЧНЫХ СЦЕН МОГУТ НЕГА-

ТИВНО ОТРАЗИТЬСЯ НА ВАШЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЛИБО ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАКОМЫ С ЖАНРОМ «ДАРК РОМАН», РЕКОМЕНДУЮ ОТНЕСТИСЬ К КНИГЕ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ ИЛИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРОЧТЕНИЯ.

ПРОЛОГ

«Они видели во мне жертву – сломленную, жалкую, готовую рассыпаться от одного резкого слова. Они не заметили, как в этой мёртвой тишине зреет буря – не просто вихрь, а чистый, слепой гнев, что сотрёт этот мир в прах, не оставив даже пепла».

Человек не рождается монстром. Он сам, шаг за шагом, выковыывает эту тварь из собственной плоти, сдирая с себя человечность, как старую, прогнившую кожу. И с каждым таким шагом он сознательно хоронит любые попытки испугать то, что натворил.

У каждого есть выбор: остаться жертвой, влачить своё жалкое существование в вечном страхе, скулить о несправедливости мира, или стать тем самым монстром, от которого другие шарахаются по углам.

Только вот, когда решаешь стать зверем, обратного пути нет. Каждый твой шаг к этой «свободе», ещё один ржавый гвоздь в крышку гроба твоей человечности. Ты забиваешь их сам, методично, без дрожи в руках.

Не существует «добрых» людей. Есть лишь те, кто ещё не решился перейти черту. Стоит только содрать с них эту фальшивую маску добродетели, и наружу полезет вся их гниль, густая и липкая, как застарелая кровь. Тогда остаётся только один вопрос: «кем стать?»

— *Кто ты, чёрт возьми, на самом деле?*

Этот вопрос: хриплый, отчаянный, почти звериный, ты задаёшь самому себе в тот самый день, что позже назовёшь «Днём X». Он не падает, как гром среди ясного неба. Он приходит как тихий, леденящий душу шёпот, въедающийся в кости, от которого не отделаться. Это не просто сомнения, это удар, который выбивает почву изпод ног и заставляет заглянуть в бездну внутри себя. И бездна эта смотрит в ответ.

Это тот переломный момент, когда обратной дороги уже не найти. Возврат невозможен. С этого дня ты носишь на себе выжженное клеймо – не как напоминание, а как приговор.

Это не просто шрам. Это вечная рана, которая не затянется. Она ноет в самые неподходящие моменты, вспыхивает заново при каждой попытке забыть, будто кто-то снова и снова проводит по ней раскалённым лезвием. Это тяжесть, которую ты протащишь через всю свою чёртову жизнь до самого конца.

Лекарства нет. Прощение, покой, сладкое небытие – забудь. Эта боль становится твоим единственным и вечным спутником. Она внедряется под кожу, растворяется в крови, проникает в каждую клетку, становится частью тебя, как яд, который уже не вывести.

Ты унесёшь этот приговор с собой в могилу, и он будет звучать в голове даже тогда, когда для тебя перестанет существовать мир живых.

— *Какой у меня, к чёрту, выбор?*

Позволить страху сожрать себя изнутри, стать очередной беспомощной марионеткой в чужих руках? Или самой стать монстром, равным тому, кого всю жизнь презирала и ненавидела. Равным – и, возможно, ещё хуже.

Одна малейшая оплошность, и твой мир будет стёрт. Это не преувеличение, это кровавая аксиома: достаточно одного неверного шага, одного ослабленного захвата, и всё посыплется, как карточный домик, погребая тебя под обломками.

Я свой путь выбрала.

Это был не порыв мщения и не красивый жест для публики. Это был хладнокровный, до боли трезвый поступок, продуманный до мельчайших деталей и принятый полностью осознанно. Без дрожи, без пафоса, без права на ошибку.

Это итог долгой, изматывающей внутренней битвы, со всеми страхами, сомнениями и призрачными мечтами, что когда-то были частью меня.

Ночи без сна, вкус металла во рту, бесконечный подсчёт шансов и ошибок, всё сложилось в один последний аккорд. В симфонию, где каждая нота выстрадана, выверена и безошибочна.

Я разобрала себя до последнего винта и собрала заново – уже как инструмент. Холодный, точный, безотказный.

И да, эта тонкая, ледяная улыбка в конце – единственный маркер совершённого. Не триумф, не радость. Улыбка хирурга после ампутации: больное отрезано, а жить придётся.

Там, где раньше билось сердце, способное жалеть, теперь

прицел. Тепло – уступило место расчёту, уязвимость – процедуре выживания.

Голос в голове уже не шепчет – он гремит, словно ржавый колокол, и каждая его нота вонзается в сознание, как гвоздь:

«Поздравляю, ничтожество. Ты только что включила режим «жёстче». Добро пожаловать в реальность. Твой следующий противник – это ты. Тот, кого ты годами хоронила в помойной яме своей души. Тень, которую страшишься видеть в зеркале. Готова пройти дальше и выжить? Тогда перестань отворачиваться. Прими эту гниль внутри себя. Или сдохни, пытаясь убежать от мук совести».

ГЛАВА 1 «ПАРАДНЫЙ ВХОД В ПРЕИСПОДНЮЮ»

Одри (три года назад)

На самом ебучем краю города, где даже крысы шарахаются от собственной тени, а нормальным людям сюда дорога только в некролог, торчит «NOBILES» – приют для отребья. Списанные подростки.

Неудобные. Ненужные. Опасные.

Фасад – ебаная издевка. Светлый камень, стекло «*под золото*», сраная табличка с гербом, ночная подсветка, будто парадный вход в дорогущий отель для тех, кто ловит от благодетельности, свой приход.

Первый этаж существует лишь для фото и отчётов: прилизанный холл, свежая плитка без сколов, пальмы у ресепшена, дежурная с натянутой, как намордник, улыбкой, капсульный кофе, и почти стерильный блеск, в котором удобно вытирать совесть лаковыми туфлями. Витрина верха – дрессированные речи, грамоты в рамках, буклеты с улыбочивыми мордами «*восстановленных*». Тур по добродетели для тех, у кого пиджак стоит как чейто год жизни.

Шагни глубже и глянец осыпается, как штукатурка со старой сырой стены. Тут «*добро пожаловать*» не говорят. Тут говорят так: «Доживаешь – увидим, в какое дерьмо тебя эта

машина перемелет». Это не приют, а холодный склад, могила для живых.

Сюда сгружают навалом тех, от кого даже *«система»* безразлично отказалась: наркозависимых, которых не взяли в реабилитацию, с проколотыми, забитыми синей сеткой руками, с пустыми глазами и ломкой, что стучит в кости, как молотком. Людей с сорванной психикой, для кого закрыли стационары, в одноразовых браслетах скорой, на галоперидоле, со смазанной речью и мелкой дрожью, которых тут пристегивают ремнями *«для их же безопасности»* и забывают до следующей смены. Тех, кто уже уронил чью-то жизнь и вылетел из списка, с чернилами суда, с пометкой *«проблемный»*.

На бумагах *«NOBILES»* – элитное учреждение. По факту – зона без окон и дверей. Камеры, как ножи в углах: режут приватность, снимают всё, кроме того, что надо. *«Технический сбой»* случается ровно тогда, когда выгодно не видеть, как именно детишки развлекаются по тёмным углам. Красный огонёк мигает. Видео есть, правды нет. Протоколы стирают живое до формулировок *«инцидент не подтвердился»*, *«жалоба голословна»*.

Здесь не учат морали, не рисуют *«планы социализации»*, не лечат. Здесь считают только цифры: чтобы никто не сдох под камерой, чтобы сводка сошлась и чтобы фонды дальше лили бабло. Верх – кислород для прессы. Низ – мясной отсек без права голоса. Между ними курсирует лифт, который возит не людей, а репутацию.

Закон один: выжил – везучая тварь. Сдох – минус единица. Для нас, реальных заключённых этой резервации, всё давно превратилось в гниющий морг, где люди ржавеют быстрее батарей.

Уродов в этих стенах хватает и внутри, и снаружи. Тут форма не нужна: все и так предельно ясно – кто давит, кто терпит. Воздух пропитан порядком, в котором человека заменили пунктами регламента, и каждый вдох тут – это попытка не захлебнуться чужой властью.

Внизу нет персонала – есть обслуживающий инвентарь.

Санитары двигают людей, как мебель: взял – пихнул – пристегнул ремнями. У них свои приёмы – отработанные, как у мясников. Один, с бычьей шеей и шрамом через бровь, любил прижимать подростка лицом к стене и шептать прямо в ухо: *«Ты тут не личность. Ты объект. Объекты не спорят»*. Его дыхание было горячим, липким, будто он хотел не просто сломать, а оставить на коже свой след. Другой, пониже, но с руками как клещи, закручивал наручники так, что металл врезался в кожу до крови, и при этом улыбался не зло, а буднично, будто проверял, не ослабла лигайка. В этой будничности было страшнее всего – будто насилие тут просто часть рутины, как чашка кофе или проверка журнала.

А над всей этой ебаниной стоял надзиратель – волосы зализаны, зубы до отвращения белые, на языке три слова: *«расписание, дисциплина, отчёт»*. Его кабинет всегда пах освежителем и бумагой, на столе линейка лежала ровнее, чем

люди после его *«профбесед»*. Жалобы у него превращались в *«неподтверждённые факты»*, а камеры в свидетелей его правоты. Его руки всегда были чисты, ибо чужую работу делали другие. Боль для него пункт в сводке, не более. Он умел делать жестокость невидимой, упаковывая её в аккуратные слова и ровные цифры.

Психолог – чучельник с дипломом и печатью: вытрясет душу, пришьёт ярлык: *«манипулятор»*, *«истеричка»*, *«склонен к агрессии»*. И отправит на таблетки и намордник тишины. Он не слушает, он сортирует, раскладывая чужие травмы по ячейкам, чтобы потом отчитаться о проделанной работе.

Кухня – блевотина по норме. Повариха разбавляет суп ведром кипятка и швыряет *«приятного аппетита»* так, что хочется впихнуть ей эти слова обратно в глотку. Котлеты – как ластик, каша – как клей. Пустые тарелки для неё очередной повод прочесть нотацию: *«Кто не ест – тот не ценит, а тот, кто не ценит, – сдохнет с голоду»*. Она кормит не людей, а режим, и ей это нравится. В её глазах нет ни злости, ни жалости – только скука человека, который давно перестал видеть в других людей.

Волонтёры приходят по субботам – отработать свет в телефоне. На снимках – улыбки, за кадром – взгляд на часы. Они боятся запаха коридоров, говорят слишком громко и слишком коротко, как будто обращаются к приложению. Их тепло не задерживается. Оно глохнет быстро. Его душат. Остаётся только жар кулаков, хрип выговоров и тишина, которую тут

называют порядком.

Первый день показал всё сразу. Лица – чёрствые. Улыбки – гнилые. В каждом взгляде один вопрос: *«Сколько ты протянешь?»*

— *Ну чё, свежак подъехал!* – и меня уже продевают под локоть, выталкивают в вонючий коридор. — *Слышали? Это та, что папашу зарезала!* – хохот, хлопки, будто они празднуют не моё появление, а мою обречённость.

Двое хватают за руки так, что в суставах трещит

— *Не дёргайся, без отметин отсюда никто не уходит,* – шипят в ухо, от них разит дешёвым кремом, табаком и спиртом.

Пальцы липкие, хват мёртвый: ввинчивают «болты» в плечи до треска, пока звенят рёбра. Ломают кисти в обратную сторону, вдавливают большие пальцы в ямки под горлом, коленом утыкают грудь к холодному полу, воздух свистит сквозь зубы и рвётся. Кожа уходит в лиловый след ещё до того, как они, ухмыляясь, ослабляют хватку. Потом добавляют – щелчок зажигалки, горячее клеймо у ключицы, и соль по живому, чтобы дёрнулась каждая мышца. Их смех, как спущенный воздух из проколотой шины: мерзкий, тянущийся, будто он хочет заполнить собой всё пространство, вытеснив любой другой звук.

Воспоминания

«Смерть отца не была случайностью. И не была порывом, когда в голове щёлкает и мир становится чёрнобелым.

Это была холодная, выверенная работа. Я знала, куда бить, знала, сколько силы нужно, чтобы не промахнуться. И я не промахнулась.

Для деда он был наследником. Для матери – оправданием её молчания. Для меня – человеком, который умел сделать больно без единого удара.

Всё решалось в кабинете, там, где пахло кожей, коньяком и деньгами. Где на полках стояли книги, которые никто не читал, а на стене висела картина, на которую никто не смотрел. Где всё было на своих местах, кроме меня.

В тот вечер я пришла туда не за разговором. Я пришла туда, зная, что назад пути не будет. Он даже не удивился, когда увидел меня на пороге. Только чуть приподнял бровь, как будто я принесла ему отчёт, а не свою решимость.

— Ты чтото хотела? – спросил он спокойно. Слишком спокойно. Именно эта интонация и толкнула меня вперёд.

Нож был не моим. Он лежал в ящике стола: отцовский, для вскрытия писем. Тонкое лезвие, тяжёлая рукоять. Я взяла его не потому, что он был под рукой, а потому, что это было символично: его же инструментом – его же правила – его же конец. В этом была своя извращённая справедливость, свой горький юмор.

Удар за ударом. Ровно туда, где жизнь держится на тонкой нитке. Без пафоса. Без слёз. Без оправданий. Только холодный расчёт и тяжесть каждого движения, которое нельзя было отменить.

Когда он упал, в комнате ничего не изменилось. Картина всё так же висела на стене. Книги стояли на полках. Коньяк тихо поблёскивал в графине. Только воздух стал другим – неподвижным, мёртвым.

Я не смотрела на него долго. Я просто развернулась и пошла к двери. В тот момент я не чувствовала ни триумфа, ни облегчения – только пустоту, которая была тяжелее любой вины.

Дед ждал меня в коридоре. Он стоял так, будто знал всё ещё до того, как это случилось. Ни крика, ни упрёков, только холодный расчёт в глазах, в котором не было ни капли родственной теплоты.

— **Теперь ты понимаешь,** – сказал он тихо, почти шёпотом, — **что ты больше не часть семьи. Ты – проблема. А проблемы я решаю.**

Он не вызвал полицию. Не устроил спектакль с горем. Он просто убрал всё. Как убирают пролитый кофе: быстро, без лишних движений, чтобы никто не заметил пятна. Улики исчезли за час. Меня объявили пропавшей без вести, так, чтобы ни один запрос не нашёл ответа. А потом меня привезли сюда. В «NOBILES». Туда, где неудобных прячут за красивыми фасадами и забывают.

Иногда, когда ночь становится слишком чёрной, я вспоминаю тот кабинет. Не кровь. Не падение. А эту тишину, как она легла на комнату, тяжёлая и окончательная, будто сама смерть пришла и села в кресло, ожидая, когда все поймут,

что игра окончена.

И понимаю: я убила не просто отца. Я убила иллюзию, что кто-то здесь может быть на моей стороне. Что где-то есть место, где меня примут, поймут, защитят. Эта иллюзия была хрупкой, но она была моей последней опорой, и, разрушив её, я осталась стоять на голом полу, без крыши, без стен, без надежды.

Теперь у меня нет семьи. Нет прошлого. Есть только этот подвал, эти стены и эти лица, которые смотрят на меня, как на добычу. Но я не добыча.

Моим домом стал низ – полуподвал, куда со светлой стороны не спускались. Облезлые кровати, матрасы с вечной пылью, паутина под потолком, батареи без жара, серые стены, исчерченные чужими кулаками. Лампочка мигает, как нервный тик, будто сама боится того, что может высветить.

Там жили. Там ломали. Там писали свои «правила» кровью, потом и слезами, и эти надписи никто не стирал, потому что они были частью декора, частью системы. Никакая улыбка с фасада туда не просачивалась, только крики, смех и злость, у которой нет дна, и в этом хаосе было больше правды, чем во всех отчётах и грамотах наверху.

«NOBILES» был не просто системой – это был цех, сварочный котёл, где подросток распаивался на свои элементы. Глянец стекла, холод ламп и чёрный металлический корпус – всё это давило на них, как невидимая рука с линейкой, измеряющая каждую секунду жизни, каждый вдох, каждую по-

пытку быть кемто больше, чем просто номером.

«NOBILES» принимал всех, сжирая под ноль, а вот отпускал единиц. Не по милости, не по правде, а по жёсткому, кровавому расчёту. Входил человек, а выходила – пустая оболочка, стиснутые мускулы памяти, забытые имена и забытые мечты о будущем. Не всегда живыми. Иногда без сил, иногда без воспоминаний, иногда с остатками боли, которые уже нельзя было ни заглушить, ни забыть. Но чаще всего – психами, которых система сама и создала.

В этих стенах всем внушают, что утопия работает. Но на деле работает лишь мясорубка: стальные зубы крутятся, перемалывая детей, и каждый скрип этого механизма – это чейто сломанный голос, чейто угасший взгляд, чьято растоптанная мечта. Здесь счёт идёт не по человеческим словам, а по правилам Блэкрофта, где человечность – это роскошь, которую никто не может себе позволить.

И если мне суждено выбраться отсюда — я выйду не человеком, а бурей стали и ярости, что снесёт их фасады и развеет их ложь по ветру. Пусть они будут утопать в крови, пусть захлебнутся в собственной отчётности – истина выйдет на поверхность, не скрываясь, и она сожрёт всё, что они так старательно строили на чужих костях.

Я подняла глаза на надзирателя, когда он прошёл мимо, не удостоив меня даже взглядом, будто я была не девочкой, а пятном на полу, которое ещё не время вытирать. Он остановился у двери, поправил воротник, бросил в пустоту, не

глядя ни на кого конкретно:

— *Чтобы к отбою ни одного крика. Если будет хоть один – завтра будет вдвое тише.*

И ушёл, щёлкнув замком так, будто отрезал нам ещё один кусок воздуха, ещё одну возможность дышать свободно.

В этот момент я поняла главное: здесь не ломают сразу. Здесь ломают по часам. По расписанию. С отчётом. Методично, расчётливо, с холодной точностью, которая страшнее любой спонтанной жестокости.

И я поклялась себе, что стану тем исключением, которое ломает саму систему. Что я стану трещиной в их безупречном фасаде, через которую просочится правда и затопит всё это гнилое великолепие.

ГЛАВА 2 «МЯСНАЯ УТОПИЯ»

Человечность в этом месте не оставляют у стойки ресепшена – её выбивают из тебя с кровью и липким потом, прямо на бетонном ринге. И делают это не ради справедливости, не ради воспитания, а ради зрелища, чтобы каждый вдох давался тяжелее, каждый шаг отзывался болью, а каждый взгляд напоминал: ты тут расходник.

Ринг для новеньких – не аттракцион, а тотем мусорного бога. Блэкрофт впаял сюда единственный переход: не у входной двери, а через клетку из железа и криков. Его правила короткие, как удар: проиграл – платишь телом. Выжил – платишь дальше. Но остаться должен один. И этот «один» – не победитель, а просто тот, кого пока не стёрли.

Тыходишь не на ринг, а тебя загоняют в фокус, как мышку под лупой: прожектора выедают зрочки, вытягивают из тебя прошлое, как чек из терминала, без шанса на отмену операции. Это порог, на котором тебя раздевают не руками, а взглядом. Здесь с тебя стягивают прошлое до кожи, здесь на твою спину кладут фишки, на твоё дыхание – коэффициенты, а голосами толпы рвут твои сомнения на тряпки, чтобы не мешали смотреть на кровь.

Это был не просто бой. Это была «методика ломки» по методу Блэкрофта, его личный воспитательный процесс, где учат не словами, а кровью, где первое правило вбивают в

рёбра, а второе в глотку, чтобы ты хрипел его наизусть. На ринг попадают не только новенькие, сюда кидают всех, кто хоть на миг дал слабину, кто позволил себе тень сомнения в его власти.

Ринг был ритуалом унижения. Каждый, кто ступал на этот бетон, проходил через одно и то же: сначала – шок, потом – ярость, а под конец – пустоту, в которой уже не оставалось места ни для жалости, ни для страха. Блэкрофт знал: именно эта пустота и есть его главная цель. Не сломать тело – сломать способность чувствовать. Сделать так, чтобы человек сам перестал видеть в себе человека.

Блэкрофт не воспитывал героев – он выращивал послушные куски мяса.

Толпа сливается в чёрную пасть: капюшоны, голодные глаза, рты в пивной пене. Ставки летят по воздуху, как пощёчины. Кто-то орёт «*ломай!*», кто-то свистит режущим тоном. Старые хищники молчат, выжидают, когда кто-то первый дрогнет, – в их тишине больше угрозы, чем в любом крике. Молодые трясут сетку, будто этим прогоняют страх, но дрожь только выдаёт их: они знают, что рано или поздно сами окажутся внутри.

Нас четверо. Первыми выходят двое. Огромные, будто выросли в кафель: плечи вширь, руки – брёвна, движения тихие и зверские. У первого кожа пепельносерая, лицо исполосовано шрамами, пальцы жилистые, суставы вздутые, будто годами ломали и не давали зажить. У второго шея толстая,

уши помяты, губы в трещинах, на скулах – старые синяки. От них несёт кровью, железом и чемто ещё, едким. Звери, блядь, не иначе.

Первый берёт молот с короткой рукоятью. Второй – топор с щербатым лезвием. Гонг. Они сходятся. Молот бьёт сверху вниз, топор уходит в сторону, молот врежется в пол с таким треском, что кажется, будто сама клетка вздрагивает. Ответ – боковым по плечу: ткань лопается, по рукаву течёт кровь, тёмная, густая, будто уже не живая. Молот рвётся в корпус, глухой удар сдвигает соперника назад. Тот сгибает колени, закрывается, но в этом движении уже нет уверенности – только инерция.

Второй заход: молот идёт слева направо. Топор ныряет под руку, короткий срез по предплечью: кровь капает с локтя, рукоять в ладони скользит, и в этом скольжении – паника. Молот задевает рёбра. Кажется, кровь пропитала их тела насквозь, дыхание сбивается у обоих. Они врезаются в сетку. Молот давит корпусом, лбом упирается, пытается прижать горло к звеньям. Топор перехватывает шею и кисть, бьёт коленом по бедру, локтем по челюсти. Голова уходит в сетку, колени подламываются. Молот выскальзывает и падает. Противник с топором не даёт подняться: шаг вперёд, рукоятью – точным ударом по печени, затем ребром ладони по запястью, пальцы разжимаются, предплечье ложится поперёк шеи, прижимает к полу. Ребром лезвия он фиксирует плечо к настилу и наносит два быстрых удара по корпусу: корот-

ко, точно, без лишней силы – ровно столько, чтобы выбить воздух. Воздух выходит со свистом, взгляд плавает. Третий замах – последний. Парень мёртв.

После их боя пол, сетка и нижняя перекладина были в пятнах крови. Уборщики быстро протёрли ринг, но кровавые разводы всё же остались, словно клетка специально держала эти следы, чтобы напоминать: здесь не лечат, здесь учат не надеяться. Санитары подхватили труп и уволокли, так буднично, словно выносили мусор, а не человека.

И только потом выпустили меня, под вой толпы, которая жаждала новой крови, как голодные псы – мяса.

За сеткой всё сливалось в один блестящий круг: свет, крики, тени. Я видела только движение и шум, но не детали. Шагнув за решётку, воздух стал гуще, свет жёстче, шум вязким, как сироп, который липнет к коже и не даёт дышать.

А потом взгляд упёрся в арсенал, и мир сузился до одного ряда железа. Он висел по звеньям сетки, как коллекция чужих ошибок. Кастеты с шипами: каждый шип, как маленький клык, с зазубринами на кончиках, как будто металл специально затачивали так, чтобы рвать, а не резать. На некоторых ещё держались обрывки кожи: тёмные, пересохшие лоскуты, прилипшие к металлу, как память о тех, кто сжимал их в последний раз.

Цепи с рваными звеньями лежали небрежно, но в этой небрежности чувствовалась угроза: одно движение — и они оживут, лязгнут, потянутся к тебе холодными кольцами.

Звенья были стёрты с одной стороны, словно их годами тёрли о рёбра и ключицы, и в этих потёртостях читалась история, которую никто не расскажет.

Мачете висело чуть выше, и его лезвие казалось почти насмешливым: полукруглая ухмылка, старые царапины, казалось что кто-то выводил имена, но не успел закончить. Оно не блестело ярко, а отдавало тусклым, маслянистым светом, точно впитало в себя пот и кровь всех, кто его держал, и теперь ждало следующего.

Узкие ножи и кинжалы висели тесной группой, целый косяк чёрных рыбок в мутной воде. Они еле шевелились от сквозняка, приносясь к моему дыханию, выбирая, кто из них первый попробует кожу. Рукояти были перетянуты изодранной лентой, липкой, как старый сахар, кожа на обмотках потемневшая, пористая от соли и времени. На некоторых — номера на бирках, как на товаре — каждый клинок был учтён, оценён и заранее продан.

Когда я подошла ближе, металл звякнул от лёгкого сквозняка: не громко, но достаточно, чтобы понять: железо смеётся заранее, довольное тем, что снова нашло руки.

Запах бил в нос: машинное масло, резина, пыль, желчь, кровь — свежая и старая, разная, как слои краски, которые накладывают друг на друга, чтобы скрыть, что под ними. Проекторы резали по глазам, как бритва: каждую зазубрину видно, каждую вмятину, и от этой чёткости становилось только страшнее.

Снаружи толпа была шумом. Здесь — она пастью: глухой гул давил сверху, как крышка на кастрюле. Голоса то взрывались, то глохли, и казалось, что клетка дышит вместе с ними — втягивает и выдыхает меня по частям.

Горло стянуто проволокой, язык сводит металлом. В животе холодно, как в холодильнике, колени гудят пустотой. Я не хотела это видеть. Теперь вижу всё: как тиски держат смерть на крючках, как цепи мечтают о чьихто костях, как мачете машет мне своей ухмылкой: «*Иди сюда, девочка*». И откудато сбоку звенит одинокое звено: тонко, насмешливо, будто оружие перешёптывается между собой, выбирая, кто начнёт.

Соперник вышел следом за мной — худой, но жилистый, как недокормленный хищник. Кожа тянется на скулах, под глазами тёмные ямы, казалось он годами не спал, а только выжидал. Глаза красные, зрачки провалены, улыбка кривая, как зашитый порез. Плечи в мелких подёргиваниях, пальцы щёлкают по бедру, словно он давно разговаривает только с дрожью. На ключице змеиный хвост татуировки, обрывается у шеи.

По его виду он не просто псих — он смакует это место, как лакомство. Пока шёл к центру, облизывался, будто уже чувствовал вкус моей крови. И каждый раз, когда его взгляд цеплялся за меня, он издавал этот короткий, мерзкий звук — не иначе как пробуя воздух, как собака, которая уже чует, где будет мясо.

— *Сейчас я тебя разделаю, конфетка. Сделаю красиво. Или не очень. Мне без разницы. Главное – чтобы ты кричала.*

— *Дерзай,* – ответила я мёртвой улыбкой, в которой не было ни страха, ни вызова, только пустота, готовая принять любой удар.

Гонг ударил сухо, как ладонью по затылку. Он сорвался к мачете: резко, покошачьи, плечо впереди, взгляд низом, уже мысленно разрезая меня на удобные порции.

Я – к двум изогнутым клинкам: рукояти в ладонях садятся, как родные, сталь дышит холодом. Пальцы сжимаются, и тишина внутри спаивается в монолит.

Первый рывок – и он почти рядом со мной. Металл мачете звенит о прут, искрит злостью. Он рычит, ныряет, бьёт коленом, пытаюсь выбить из меня воздух. Я отвечаю пяткой по его голени так, чтобы нога предала его. Толпа захлёбывается: шипение, вой, свист, кто-то ржёт, кто-то молится – всё смешивается в один липкий хор.

Его оружие скользит, царапает мне майку у рёбер: горячая полоса ожога под тканью, дыхание срывается на полвдоха. Я не отступаю, врезаю гарду в его костяшки, чувствую, как в кисти у него проваливается сила. Вторым клинком цепляю его предплечье – неглубоко, достаточно, чтоб разжать пальцы. Мачете валится, сталь стучит по настилу. Он шипит, но не от боли, от злости, которая не проходит, потому что злость – это единственное что у него осталось.

Сетка дрожит, как кожа на холоде. Проекторы жарят затылок. Блэкрофт смотрит сверху, как палач, которому не важно, кто первый упадёт, – важно, чтобы упал красиво. На этом полу не живут, а заканчивают начатое. Сегодня он запомнит моё имя. Или мою тишину. В любом случае, не останется голодным.

Мы двигались по клетке, как по наждаку. Толпа выла, делая ставки, и каждый из крик был как ещё один удар по нервам.

Я нашла свой собственный ритм. Режу его по корпусу. Он проседает на полшага, рвётся в ответ, пытается смять весом. Я свожу клинки крестом, уводя плечо мимо, прибиваю его к сетке. Кровь брызнула тёплой каплей мне на скулу. Я не стёрла, запомнила: он теряет точность. Ему некуда деваться – он путается в собственной ярости, а я только разгоняюсь, превращая каждый его промах в свою победу.

Сначала я почувствовала на коже прожигающий взгляд — горячую нить между лопаток, такую явную, будто к спине поднесли раскалённое железо. Один миг — и мир перекошило. Я дёрнула взгляд вверх.

На втором этаже стоял парень, как дьявол на балконе собственного пекла: голый торс, тёмные джинсы, локти не просто на перилах, а как на подлокотниках собственного трона. Он не смотрел – придавливал. Ловил мой взгляд и держал его, как раскалённый гвоздь в виске. Скулы – бритва под кожей, щетина – тень. Глаза чёрные, как мокрый асфальт но-

чью: без тепла, без блика, глубоко под тяжёлой бровью. Высокий, под два метра. Плечи, словно дверной проём. Спина как стена без окна. Лысый череп тускло блестит, кожа гладкая, как отполированная кость. Шея короткая, бычья, жилы — стянутые канаты в узле. По шее вверх ползёт колючая проволока татуировок. Двигается тихо для своих габаритов — тихо, как каток, который едет по кости и не замечает.

Он пугает не жестами, а фактом присутствия. С виду — парень. По сути — таран на двух ногах, которому не нужен разбег, чтобы снести то, что встало поперёк. Красивый до злости, пугающий до немоты. Его уголок рта дрогнул: короткий, холодный знак приговора.

В эту секунду соперник, учуяв моё отвлечение, рванул низко и грязно, без предупреждения. Удар вошёл глухо и жёстко в печень, с подсечкой. Воздух вышибло, рёбра зазвенели, мир сжался до чёрной точки. Темнота придвинулась вплотную и стянула горло холодной петлёй, колени провалились, пальцы схватили пустоту. *«Да чтоб тебя, сука!»*, — пронеслось в голове. Это был удар по сознанию, я ненавидела его в эту секунду, ибо этот парень — украл мой контроль.

Моё падение не стало концом. Оно стало точкой опоры: жёсткой, как вбитый в бетон штырь, что держит на себе всю эту кровавую карусель. Я рухнула, и тут же оттолкнулась, будто сама боль дала мне рычаг.

Я переключилась на соперника:

— *Теперь моя очередь*, — сказала я тихо. Чтобы услышали

ТОЛЬКО МЫ.

Я пошла вперёд. Угол. Давление. Вес. Он ещё верил в свою скорость – я забила её ритмом. Первый срез – сбита стойку. Второй – выдернула опору. Третий – выключила счётчик. Он качнулся, цапнул воздух пальцами и рухнул.

Дальше всё шло не на скорости, а на инерции. Я навалилась и била. Жёстко. Без замаха. Без пауз. Клинки входили в плоть, как в мокрый картон. Кисти горели. Плечи работали, как молоты. Он закрывался, скрючивался, пытался уползти, я распарывала этот кокон ударом за ударом. Грудь у него ходила рвано, я сбивала такт дальше.

По моему запястью текла кровь — моя или его, уже не разобрать. Она скользила по коже, собираясь в капли, и падала на бетон черными точками. Каждый раз, когда клинок выходил, за ним тянулась тонкая алая нить, тут же рвалась и исчезала.

Я била, пока свист не захлебнулся тишиной. Пока тело подо мной не стало тяжёлым и неподвижным, как мокрый брезент.

Кто-то дёрнул за плечо. Судья. Или тот, кто тут изображает совесть. Второй полез под локоть. Я не сразу отпустила: пальцы не слушались, кулаки всё ещё искали цель. Когда отпустила сталь, ладони показались чужими: не руки – инструмент. Встала, качнулась, вдохнула: в лёгкие вошли дым, пот и железо.

Вкус победы – как на изломе зуба, с кровью металла. Рука

судьи взлетела. Вой толпы вдарил в уши: им праздник, ставка, зрелище. Для меня – минус человек внутри. Я стояла посреди клетки, и холод поднимался с пола вверх, намерзая на рёбрах. Во мне что-то отщёлкнуло ещё раз: финально.

Та, что пришла на ринг, здесь не стояла. Осталась по ту сторону решётки, вместе с тем, кого я добила до тишины. Где-то наверху кто-то медленно хлопал в такт моему пульсу. Может, тот самый парень. Может, просто эхо. Я подняла глаза, и увидела только свет, который резал зрачки.

Я выиграла. Но не вышла. Вышла оболочка – собранный механизм, которому всё равно, что будет дальше.

— *Вот это номер! Дай пять, тигрица!* — нырнул ко мне ведущий в блестящем костюме, с мерзкой улыбкой.

— *Убери руку,* – сказала я, не глядя.

— *Девочка,* – попытался вкрадчиво ведущий из тени, — *ну улыбнись в камеру, а? На память. Такую ночь зрители любят лица.*

— *Лица – в морге,* – ответила я.

— *Я запомню,* — букмекер вскинулся на секунду, встретил мой взгляд и опустил.

— *Ещё раз дёрнешь – оторву кисть,* – я поймала его запястье, чуть провернула. Он всхлипнул.

— *Эйэй, спокойно, у нас же шоу,* – он попытался улыбнуться снова, но рот дрогнул.

Сбоку распахнулась калитка, ввалились двое парней с брезентом.

— *Пакуем*, – бросил первый, бросил взгляд на лужу под решёткой и изуродованное тело.

Тело унесли. Ведущий растворился за спинами охраны.

Блэккрофт возник у сетки, как вырезанная тень. Глаза – лёд, голос – тихий, отчётливый:

— *Красиво вошла. Ещё красивее – вышла. Привыкай к рукам и аплодисментам. Пока ты здесь – ты часть механизма. Инвестиция. Отдохни. Док там. И запомни: ринг твой паспорт. Береги его штамп.*

— *Плевала я на ваши «правила».*

— *Слюной не захлебнись*, – бросил он напоследок.

«Медик» ткнул в меня пачку бинтов:

— *Сядь. Прижми. Не геройствуй.*

Чужие руки тянулись к сетке:

— *Эй, киска, на счастье!*

— *Поделись удачей!*

Я посмотрела на них, и пальцы мгновенно втянулись обратно в темноту.

Коридор выдохнул меня в серый задник – бетон, сырость. Гул толпы остался позади, будто отрезанный ножом. Я вжалась в стену, будто она могла удержать то, что рвалось наружу.

«Больше не убивать», – прошептала я про себя, и слова сорвались с губ хриплым шёпотом, в который я сама почти не верила. В этом месте любые клятвы звучат как хрип: надтреснутый, бессильный, будто сам воздух душит правду.

Из тени выделился силуэт – тот парень с балкона. Руки в карманах. Улыбка ленивая.

— *Выдержала*, – сказал ровно, будто ставил галочку в чужом отчёте, — *хорошо. Но запомни: отвлекаться – плохая привычка.*

— *Отвали.*

Он прищурился:

— *Будешь моей.*

— *Никогда*, – ответила я тихо.

Тишина стукнула, как приклад. Он сделал ещё шаг: воздух потяжелел, как перед обвалом. Я не отступила.

— *Я не спрашивал, малая*, – *бросил он.*

— *А я не разрешала.*

— *Главное – не перепутай воздух и иллюзию. Увидимся, когда устанешь от своих «никогда».*

— *Моё «никогда» крепче твоей шеи.*

— *Проверим*, – он протянул ладонь. — *Как факт, кучерявая: порог пройден.*

— *Руку жму только тем, кто вытаскивает из дерьма*, – процедила я. — *А ты толкаешь вниз.*

— *Могу и вытащить, и утопить. Включай башку. Здесь без своих тонут быстро.*

— *Я уже на дне*, – усмехнулась я. — *Там хоть тихо, не то что рядом с тобой.*

— *Тихо до первой волны*, – швырнул он мне в спину. — *Потом шею ломает.*

Он ушёл так же, как появился: без звука.

Я осталась у стены. Досчитала до десяти, вдавливая бинт в рану так, будто хотела загнать боль обратно внутрь, заставить её сжаться в тугий узел и заткнуться. И пошла дальше, не оглядываясь. В тот самый момент это было единственное, чего я не могла себе позволить – остановиться. Потому что остановиться значило дать боли победить, позволить чужой жестокости въестся в кости и остаться там навсегда.

ГЛАВА 3 «ЦЕНА ВЫДЕРЖКИ»

Шли дни – один хуже другого, будто кто-то специально растягивал их, чтобы выжать из меня каждую каплю терпения. Время тянулось липкой резиной, скрипело по нервам, как ржавые петли, которые никто не смазывает, потому что скрип тут любят – он звучит как предупреждение.

Я зареклась: больше никого не убивать. Точка. И да, получалось – через скрежет зубов, через ломку, с белым шумом в башке, который гудел, как неисправная проводка. Память жила в пальцах: хват тянулся сам, ладонь искала чужое горло, сухожилия помнили, как замкнуть петлю. А я давила это зверье внутрь, сглатывала яд обратно, считала до ста, леденила кровь, уходила в темноту без шагов. Иногда держалась. Иногда – нет: язык в кровь от прикуса, ногти в ладонь до лун, лишь бы не сорваться. Я сама себе намордник, сама себе клетка. Дышу в щель, говорю шёпотом, живу по секундомеру, где каждый тик – это ещё один шанс не превратиться в то, что они хотят из меня сделать.

Я стала изгоем. Без клуба, без стаи, без своих. И вроде похуй – я умею идти одна. Но за мой выбор – не убивать – меня записали в живую мишень для издёвок.

В лицо – плевки. В спину – шёпот этих крыс. Под дых – подлые тычки. Одни и те же коридоры, одни и те же углы: чья-то слюна на щеке, чей-то смех у уха, чья-то лапа мимо

рёбер, ровно туда, где больнее, но без свидетелей. Я глотала горечь, как битое стекло, и оно скрипело на зубах, оставляя на языке металлический привкуса отражения, который я отказывалась признавать.

Месяц поскрёбся по мне наждаком. Время не шло – меня им тёрли, как тряпку о бетон, чтобы стереть всёлишнее, а лишнее тут было всё: жалость, надежда, слабость. Я не считала дни, я считала отметины. Чужая злоба расписывалась на мне, как на грязной стенгазете: коряво, злобно, с ошибками, зато крупно, чтобы даже слепой заметил. Локти – в кровь и пыль. Колени – в клочья, будто асфальт пытался меня сожрать и подавился. Синяки под глазами не сходили, только крутились по кругу: фиолетовый в зелёный, зелёный в жёлтый – карусель для идиотов, где каждый оборот – это ещё одна неделя в этом аду. Через время я перестала щуриться в зеркало. Привыкла. Тело стало топографией долга, и каждая метка – адрес должника, который рано или поздно заплатит.

Пару раз после очередной «коронации» – мордой в грязь, коленом в позвоночник, и их рвота радости вокруг – я лежала по полчаса, не шевелясь. Считала вдохи, как купюры, ровно и тупо: один – живу, два – не ору, три – не убиваю. Четыре – запоминаю всех.

Смеялись? Смеялись. Слюной брызгали, суки. Они думали додавят. Думали сделают тряпкой. Да хрен там.

Каждая пощёчина – их подпись под будущим приговором. Каждый плевок – метка в списке. Я фиксировала их смех,

их запахи, их привычки. Кто бьёт с размаху, а кто любит под шумок. Кто прячет глаза, а кто ищет мои. Я не ломалась, я собирала. Взвешивала их на ладони, калибровала их страхи, подбирала им веса, чтобы потом бросить ровно туда, где будет больнее.

Следы на теле перестали быть чужими. Они стали символом – проклятым тюремным паспортом, где вместо номера – твоя боль, твой срок, твой штрихкод злобы. Каждый синяк – печать. Каждый шрам – штамп *«незабыто»*. И когда этот паспорт я подам к окошку – мне вернут не свободу. Мне вернут проценты .

Когда в очередной раз, сидя в углу столовой, я услышала, как по кругу тянут злосчастный жребий, внутри что-то лопнуло со звоном – не нерв, а струна, натянутая до предела. Я перестала просто молчать. Я наконец-то вернула то чувство, которое столько времени глушила, давила в себе, будто пыталась задушить собственную тень. Убивать. Я начала возвращать долги. Поодиночке. Там, где камер нет и свидетелей не бывает: в прачечной, где гул машин глотает любые звуки; в курилке, где дым висит вязкой пеленой, пряча всё, что не должно быть увидено; в душевой, где пол скользкий, а стены помнят каждый удар.

Я не убивала. Я выключала. Захват – дыхание – крантик перекрыт. Пальцы – в сторону, сустав щёлкнул с сухим, почти будничным звуком. Колено – срезом по связкам, чтобы он навсегда запомнил, как земля пахнет снизу, когда ты ле-

жишь, уткнувшись в неё лбом. Лопатка о стену – так, чтобы стены знали имена, чтобы каждый чёртов кирпич впитал эту злобу.

И вот, наконец, тот самый день их извращённых игр. Я ждала их. Настолько сильно ждала, что это желание пугало меня саму, оно было слишком острым, слишком настоящим, будто я наконец-то нашла в себе то, что давно искала: холодную, расчётливую ярость. Они шли по очереди, по какому-то ебаному расписанию: двадцать минут между визитами – будто жестокость у них отмечена в таблице.

План был простой и честный, как прямой в челюсть: не отползать, не вымаливать, не дрожать. Встретить каждого так, чтобы понял – следующего захода у него не будет. Чтобы мысль об этом застряла у них в глотке, поперёк смеха, царапая изнутри, как осколок стекла.

Первый залетел клоуном, весь на понтах, будто ему уже всё принадлежит:

— Готова, шавка? Ща научу тебя быть покорной.

Я поднялась медленно, как будто только что проснулась от долгого, тяжёлого сна. Потянулась, улыбнулась – нелюдской, пустой улыбкой, в которой не было ни тепла, ни жалости. Спесь с него слетела, как пыль с ботинка, когда по нему ударяют. Я сорвала её одним толчком в грудь: коротко, без суеты. Звук встал у него поперёк горла, захлебнулся там, не успев родиться. Паника распустилась в зрачках, глаза забегали, как у помойной крысы, мечущейся в тесной клетке.

— *А чё ты, сука, устал? Решил прилечь?* – прошипела я ему в ухо. Он мгновенно бледнеет и становится лёгким, как пустой мешок, из которого вытряхнули всё, что делало его страшным. Я положила его тишиной на пол и прошла дальше – мне некогда объяснять правила.

Второй пришёл контролёром – руки за спиной, будто он тут и суд, и приговор, и сама справедливая. Пытался считать мои движения, как чужие шаги, будто мог просчитать меня, как шахматную партию. Я ломала ему счёт паузами. Отвечала молчанием дольше, чем ему было комфортно, пока тишина не начала давить ему на виски. Подпустила близко – настолько, чтобы он услышал моё спокойное, ровное дыхание, и ровно тогда вынула изпод ног его устойчивость. Его «*порядок*» осел ему же на плечи тяжёлым, невыносимым грузом. Он сел рядом – аккуратно, как ученик, который не понял задачу, но боится спросить.

Третий держал дверь молча, думал – останется чистеньким, если не говорить, не делать резких движений, то всё пройдёт мимо. Я сама закрыла за ним, защёлкнула воздух между нами, отрезая любые пути назад. Его тишина стала моим полем, моей ареной. Он пытался раствориться в углах, стать невидимкой, но я давно научилась видеть тех, кто не хочет быть замеченным. Он шептал что-то оправдательное – себе, не мне, словно пытался собрать себя по кусочкам из собственных слов. Я не слушала. Его шёпот сам поставил его на колени.

Четвёртый пришёл *«крутым»* – пока были свидетели, пока кто-то мог увидеть и запомнить. Когда стены остались глухими, он стал обычным. Плечи осели, *«смелость»* стянулась в комок где-то под кадыком, как тряпка, которую сжали в кулаке.

Я каждого встречала намеренно медленно, с особым *«го-степриимством»*, растягивая секунды, как резину, чтобы они успели почувствовать, как страх прорастает внутри, распухает, давит на рёбра, пока не лопнет. дозировала паузы, чтобы они слышали, как звенит лампа, как скребёт по кафелю подошва, как громко, отчаянно бьётся их сердце, выдавая их с головой. Чтобы ощутили этот хладнокровный ад, где я – та, кто держит таймер, кто решает, когда наступит тишина.

Когда всё закончилось, я стояла на полу, в пятнах чужой крови. Руки слегка дрожали, колени вязли в чёмто липком и уже неважном. Я смотрела по сторонам: эти обои, эта облезлая срань, эти стены, пропитанные чужим страхом и болью. Мои монстры валялись уже тихо – наконец-то научились молчать. И вдруг поняла: пусто. Спокойно. Впервые за долгие месяцы. Тишина, как после бури. Воздух ровный, как пульс у машины, которую наконец-то заглушили. Чёртово облегчение. Не радость – баланс. Не победа – расчёт. Это был не конец. Это был первый платёж по их долгам. И я ещё даже не начисляла пеню. Но я не дура – знала, что настоящая развязка ещё впереди.

За дверью – тяжёлые шаги, слишком уверенные, будто тот, кто шёл, уже считал это место своим, а меня – частью декора. Сердце сжалось, кровь в жилах словно встала, застыла ледяной коркой. Дверь заскрипела, выпуская тьму, как будто сама древесина кричала: «Беги!». Но я не сдвинулась с места.

В проёме стоял Клейтон.

Его силуэт — будто вся жесть этого места сошлась в одной точке, сконцентрировалась на нём, как в фокусе. Воздух в комнате забил нос гарью – так страшно бывает только в одну минуту: когда понимаешь, что вот сейчас будет конец. Но я не отвела глаз.

Вот он, мой финал.

В его взгляде – ни капли человеческого. Чёрная дыра, затягивающая всё живое: надежду, страх, даже крик, который так и не успел родиться. Такие смотрят сквозь тебя, как будто ты уже исчезла, и осталась только тень от мяса, которую можно поставить куда захочется, как вещь. Я замерла, слушала, как бешено долбит сердце, даже голос внутренний стих.

Клейтон вальяжно окинул взглядом комнату, размазывая по плитке кровь и следы моего маленького «восстания». Его внимание липло к каждой детали – к тому, как я дрожу, как держусь за порезанное плечо, как сжимаю зубы, чтобы не вскрикнуть прямо при нём, не показать ему эту слабость. Глаза его оставались ледяными, как ползуций по венам яд. Я впервые за месяц почувствовала себя абсолютно пустой, даже воля исчезла, только чёрная дыра внутри, тяжёлая, вяз-

кая, поглощающая всё. Я даже не смотрела на него – просто хотела, чтобы всё ускори́лось. Пусть конец будет быстрым. Пусть этот ублюдок доделает своё дело без долгой игры.

Но Клейтон не спешил. Он не любил спешить – ему нравилось выдавливать из пространства всё «до скрипа», выжимать каждую секунду, чтобы она звенела от напряжения. Долгие секунды тянулись, каждое моё дыхание отдавалось в ушах оглушительным эхом, пока он наконец не заговорил

ГЛАВА 4 «ПЕДАГОГИКА БОЛИ»

Голос обрушился, глухой и жёсткий, будто хлыст рассек кожу. Он не просил – выжигал слова, как клеймо:

— Никогда не сдавайся. Даже если перед тобой сам дьявол, или его нахуй.

— Вставай, малая. Или ты планируешь тут мне отсосать? Давай, покажи тогда, на что способна.

Эти фразы били сильнее пинков – въедались под кожу, оставляли рваные следы. Унизительно, грязно, до тошноты. Но именно эта грязь держала меня на ногах, не давала упасть окончательно.

— Будешь моей, кучерявая. Я заберу тебя полностью, ясно? Тебя никто не тронет, если я не дам команды.

Я подняла голову – и голос мой резанул, как осколок стекла:

— Пошёл к чёрту, Клейтон. Я – ничья. Захочешь забрать, сперва попробуй спросить. Но разрешения не будет. Никогда.

Шаг вперёд – так близко, что между нашими лбами почти не осталось воздуха. Пусть слышит, как ровно я дышу. Пусть чувствует, что меня не сломать одним словом.

— Тронешь без спроса, откушу руку по локоть. Приказы оставь своим шлюхам!

Он замер, ровно на один вдох. Потом глаза его чуть при-

щурились, а усмешка расплзлась по лицу, как трещина по фарфору: тонкая, неизбежная, готовая расколоть всё до основания.

— *Видишь, малая? Ты не сломалась мне нравится огонь в твоих глазах, он способен на многое*

Он ушёл. А меня будто только что прокатили под прессом. Его слова повисли на шее цепями: мерзкими, холодными, но правдивыми для этого места. От них не сбежать.

Клейтон учил не быть жертвой. Но и человеком здесь быть было невозможно. Оставалось стать зверем: злым, насторожённым, готовым вцепиться в глотку любому, кто подойдёт слишком близко.

Дальше началась война. Не помощь, а тотальный контроль, тихая, наэлектризованная дуэль, где каждый взгляд был ударом, а каждое молчание – угрозой.

Бессонные ночи, сорванный режим, тренировки до рвоты. Он выбивал из меня всё: жалость, страх, сомнение, как будто выдирает по одному гнилому зубу, чтобы на их месте выросло что-то твёрдое, несгибаемое.

После его «уроков» руки дрожали, но смех в спину больше не звучал. Это и было победой.

Подтягивания – до белого шума в голове, до темноты перед глазами. Ладони рвались, превращаясь в кровавые карты, соль пота разъедала ранки, заставляя кожу гореть. Он стоял рядом и стучал по трубе – ритм, который нельзя было сбить : «— *Ниже. Медленнее. Равномернее*».

СКАКАЛКА была адской струной, она щёлкала по бетону, была по икрам, оставляя синяки, будто метила меня как свою собственность. Я сбилась на сотом прыжке, язык уже был в крови, но он только кивнул: «— *Считай вслух. Плевать, что язык в крови*».

Боксёрский мешок, набитый песком, принимал мои удары, как терпеливый исповедник принимает грехи. Кулаки в старых бинтах: к третьему раунду бинты стали мокрыми, к пятому – мокрыми от крови. В самый пик, когда я уже не чувствовала рук он говорил: «— *Левая – короче. Правая – тише. Дыши. Дыши, чёрт тебя дерн. Воздух – это твой нож*».

Вечером – лестницы. Пролёты пожирали бёдра, высасывали последние силы.

На площадке – отжимания на кулаках: кожа трескалась, плитка жадно впитывала кровь. Пальцы немели: значит, ещё десять.

Планка – до дрожи, пока подбородок не начинал скрипеть от напряжения, пока живот не стягивало жгутом, а спина не начинала стонать. Но я молчала. Молчание было моим метрономом.

Он сидел рядом на корточках, спокойный, как палач на перекуре: «— *Руки должны помнить боль. Тогда страх забудет тебя*».

Иногда – вода. Металлическая ванна, ледяная, безжалостная. Лицо вниз, задержка дыхания, сердце колотится где-то

в горле, перекрывая кислород. Мир сужался до двух точек: жжения в лёгких и его ладони на моём затылке – тяжёлой, уверенной, не дающей шанса на побег. Я выныривала рвано, кашляя, хватая воздух судорожными вдохами. Он смотрел спокойно, без сочувствия: «— **Паника – это выбор. Выбери другое**».

Пища здесь была условностью. Не добила комплекс – не ешь. Ноги ватные, голова – пустая консервная банка, звенящая от каждого вдоха. Он кидал мне кусок хлеба, как кость собаке: «— **Сначала – дело. Потом – крошки**».

Срыв – тоже был частью тренировки. Когда меня выворачивает в углу, он просто пододвигает ведро, не отводя глаз: «— **Хорошо, девочка. Пусто легче наполнять**».

Спарринги не имели ничего общего с романтикой. Здесь не было места красивым ударам – только эффективность. Пальцы лезли в глаза, колено в печень в бедро. Задача была простой: уронить, прижать, решить. Он бил редко, но точно, я же часто и зло, как разъярённый рой пчёл. Он рвал мой темп, я его дистанцию. В какой-то момент я поймала его взгляд в связке ударов и не отвела глаза. Он ухмыльнулся одобрительно, и моргнул первым: «— **Вот так. Никогда не отводи глаза. Пусть соперник моргает первым**».

Иногда он срывался. Перчатки летели в стену с глухим стуком, эхо катилось по рингу, как раскат грома: «— **Медленно! Ты молишься во время удара?**».

Я слушала. И мелкая моторика, превращавшаяся в язвы и

мозоли, становилась точностью. Движения становились короче, сердце – ровнее, голова – тише.

Он держал меня в кулаке, как спичку: зажигал и гасил. Доза света была его выбором. Любая *«забота»* здесь была инструментом, любая похвала – конфетой с гвоздём внутри.

Слухи в приюте ходили поганые, липкие, как жвачка под столом: *«— Слышала, Одри теперь шлюшка Клейтона. Он её по углам крутит, как хочет, – шептались девки в курилке, отворачиваясь, когда я проходила мимо. — Да ну, ты чё! – фыркал кто-то из старшей смены. — Тронешь её и трупом пойдёшь, позвоночник через рот вытащит. У неё этот псих за спиной, видели, как он Ником кафель протёр, пол до сих пор скрепит?».*

Кто-то пустил слух, будто я сама к нему липла, потому что иначе тут не выжить: *«— Она решила: лучше быть чьей-то игрушкой, чем жестяной урной для всех. — Раньше молчала, теперь рыпается, – добавлял кто-то яд, чтобы уж наверняка».*

Про таких обычно забывают быстро, но в мою сторону больше не плевали и не смеялись. Теперь на меня смотрели как на мину с выдернутой чекой. Следы от ножа на чьем-то лице всегда напоминали, что за мной никого из *«своих»* нет, кроме одного психа и остальным лучше не рисковать испытать его предел.

Тогда между нами будто вспыхнула искра: больная, ядовитая, обжигающая обоих. Я поняла: в этом зверином равно-

веси и мы режемся друг о друга сильнее, чем об весь остальной мир. Он был моим палачом, моим хищником и моим единственным грёбаным охранником. И лучше сдохнуть рядом с ним, чем снова терпеть, как кто-то чужой пытается оставить на мне свой запах.

Иногда на меня накатывало странное тепло, как будто где-то под рёбрами загоралась лампа. Оно вспыхивало не вовремя, неуместно, предательски. Я нарочно задерживала на нём взгляд, ловила эти паузы, в них случалось что-то, от чего по коже шёл ток. Когда мы дрались, спорили, стояли друг напротив друга, его касания будили во мне не только злость, но и живую тягу к риску. Он это чувствовал – и давил ровно, экономно, как будто пальцем тушил спичку, не давая ей разгореться в пожар.

Он возникал внезапно – в коридоре, во дворе, в дверном проёме спортзала. Будто улавливал момент, когда меня нужно потряхнуть так, чтобы дыхание сорвалось. Я застывала, едва его взгляд прожигал мне грудь, оставляя невидимые ожоги.

« — А ты, Клейтон, меня сам когда-нибудь тронешь? — выплюнула я в упор, не моргая. **— Или только строишь из себя праведника?**

Он щёлкнул языком и наклонился так близко, что я почувствовала вкус его дыхания — горечь кофе и металла.

— Кучерявая, забудь. Я не ебу малолеток, — сказал он лениво, точно ставил точку в драке одним словом.

Я усмехнулась – криво, зло, с привкусом крови на губах:

— *Клей, хватит прятаться за правила. Хочешь – бери. Не хочешь – не жги меня своим блятским взглядом, будто уже сорвал с меня кожу.*

— *Не путай голод с просьбой*, – он провёл большим пальцем по моей скуле, едва касаясь. — *Скажи «прошу» и посмотрим, что выдержит твоё тельце.*

— *Руки убери.*

— *Заставь».*

Однажды после спарринга я сорвалась. Не от боли, а от этой его холодной точности, которая будто вычерчивала по моей коже невидимые линии, помечая меня, как свою территорию. Я швырнула бинт на пол и шагнула к нему вплотную, так, что между нами не осталось даже воздуха для спора:

« — *Хватит играть со мной, как с куклой!* – рявкнула я, и собственный голос показался чужим, слишком громким в этой звенящей тишине.

Клейтон не отступил. Наоборот, чуть наклонился, будто хотел рассмотреть, что там внутри меня щёлкнуло, сломалось, загорелось. Его глаза потемнели, и в этом взгляде было что-то такое, от чего у меня внутри всё сжалось и одновременно расправилось, как пружина, которую слишком долго тянули.

— *А если я не играю?* – тихо спросил он, и от этого тихого голоса мурашки побежали по спине, как ледяные пальцы. — *Если я кайфую от того, как ты тонешь: медленно, по-глупому, сама себя топя.*

Я хотела сказать что-то едкое, вернуть всё на свои места: на его ледяную сторону, на мою колючую. Но слова застряли в горле, потому что в эту секунду я поняла: он не шутит. И не издевается. В его голосе была не насмешка, а признание: тяжёлое, как свинец, и острое, как битое стекло.

— *Не смотри на меня так*, – прошипела я, сама не зная, чего боюсь больше: что он отведёт взгляд или что не отведёт.

Уголок его рта дёрнулся в усмешке, но глаза оставались серьёзными, словно в них застыла вся тяжесть мира, которую он не собирался с себя сбрасывать.

— *Как? Вот так?* – он чуть склонил голову, и этот жест вышел почти интимным, на секунду позволив себе увидеть меня настоящую: без брони, без шипов, без той корки из злости, которой я обросла, чтобы не рассыпаться. — *Когда ты стоишь передо мной и дрожишь не от страха, а от того, что хочешь ударить или прижаться?*

Я занесла кулак, но он даже не шелохнулся. Просто стоял и смотрел, позволяя мне балансировать на грани, где одно движение могло стать либо ударом, либо падением. И эта его неподвижность была самым сильным оружием: она выжигала нервы, заставляла сомневаться в каждом своём действии.

— *Я никогда к тебе не прижмусь*, – бросила я, и слова прозвучали как ложь: липкая, ядовитая, проникающая под кожу, разъедающая самую суть того, что я пыталась из себя строить.

Он меня задолбал своим вечным «нет», своей улыбочкой,

от которой хотелось выдрать зубы и швырнуть их ему под ноги, чтобы он наконец перестал выглядеть так, будто всё под контролем. В моей голове уже вырисовывался дикий, почти безумный план по захвату своей территории: прижать его к стене, сорвать эту спокойную маску, заставить потерять контроль хоть на секунду, или просто изнасиловать его.

— *Знаю*, – спокойно ответил он, и в этом спокойствии было столько яда, что им можно было травить целые города. — *Ты скорее сломаешь стену. Но знаешь, что самое смешное? Я бы стоял и смотрел. До тех пор, пока ты не поймёшь, что стена уже рассыпалась, а ты всё ещё стоишь».*

После этого он ушёл, оставив меня одну стогать от злости и чего-то ещё, чего я не могла назвать, потому что не хотела давать этому имени.

Эта одержимость не была ни любовью, ни нежностью. Это было сродни тому, как два хищника учатся друг у друга : он тому, как не сломать меня, я тому, как не сломаться. Мы тянулись друг к другу не как люди, а как полюса , между которыми искрит воздух, прожигая всё на своём пути. И каждый раз, когда эта искра грозила перерасти во что-то большее, один из нас делал шаг назад. Не потому, что не хотел. А потому, что знал: если мы пересечём эту черту, назад дороги не будет – только пепел и тишина, в которой уже не разобрать, кто кого убил.

Как-то раз он задержался дольше обычного. Мы сидели на

полу спортзала, я пыталась отдышаться, а он просто смотрел, будто изучал меня, как сложную задачу, которую нельзя решить, но можно бесконечно разбирать на части, выдёргивая из неё по одному нерву: «— *Ты странная Одри*, – неожиданно произнёс он, и в первый раз за всё время в его голосе не было ни приказа, ни насмешки. Только усталость и что-то похожее на уважение. — *Ты не просишь пощады. Даже когда она тебе нужна.*

— *Потому что пощада — это когда тебя жалеют. А я не хочу, чтобы меня жалели*, – выдохнула я, глядя ему прямо в глаза.

Он кивнул, будто это было именно то, что он хотел услышать.

— *Тогда я буду требовать от тебя больше, чем от кого-либо*, – произнёс он, и в этих словах не было ни угрозы, ни обещания, только приговор, который я сама себе подписала.

— *Зачем?* – спросила я, поднимая на него глаза, и в эту секунду между нами снова проскочила эта гребаная искра: острая, болезненная, такая яркая, что на мгновение ослепляла.

— *Потому что ты можешь выдержать.*

И я поняла, что в его одержимости мной не было ничего личного. Или, наоборот, было слишком много личного, столько, что он сам боялся в этом признаться.

Он видел во мне то, чего не видел никто: не жертву, не игрушку, не инструмент. Он видел силу, которую можно от-

точить до смертоносного блеска, превратить в оружие, способное резать не только плоть, но и души. И он был готов платить за это своей собственной жестокостью.

А я была готова платить болью. Потому что в его взгляде, холодном и безжалостном, я впервые за долгое время чувствовала себя живой. Не просто выжившей, цепляющейся за каждый вдох, а именно живой.

И пусть до поцелуя не доходило. Нам хватало этих взглядов, этих пауз, этих касаний, которые обжигали сильнее любого огня. Потому что каждый раз, когда мы сходились, мы проверяли: кто из нас сломается первым? И каждый раз ни один из нас не ломался. И в этом была наша странная, но такая необходимая связь: как у двух осколков одного разбитого зеркала, которые не могут соединиться, но отражают друг в друге одни и те же тени.

Однажды мы стояли близко, непозволительно близко: его плечо прижимало моё, он не целовал, он калибровал дистанцию, а это злило сильнее любого поцелуя. В этом была вся его подлость: он держал меня на грани, не переступая черту, будто проверял, сколько я выдержу, прежде чем сорвусь и сделаю этот шаг сама : «— *Спарринг. Сейчас. Без перчаток*, — сказала я, и в моём голосе не осталось ничего, кроме стали. — *Проигравший слушается сутки.*

— *Договор*, — он кивнул, и в этом кивке не было ни капли сомнения чем всё закончится, и был к этому готов.

— *Но если выиграю я, ты перестанешь врать себе и*

будешь дышать, когда я скажу «вдох» Клейтон!

— Посмотрим, кому тут нужен воздух.

Мы вышли на мат. Первый захват – он глушит моё плечо, я бью бедром, выскальзываю, цепляю его локоть. Он смеётся коротко, без веселья:

— Колешься, как стекло.

Он тянет меня обратно: ровно настолько, чтобы я уткнулась лбом в его скулу, и на секунду мир сужается до этой точки соприкосновения, до этого жёсткого, безжалостного контакта.

— Слышишь? Это твой страх скрипит зубами. Твоя выдержка трескается.

Мы падали, вставали, снова шли в корпус, превращая каждый вдох в борьбу. Его ладонь легла на мой затылок, почти нежно, и от этого «почти» меня переклинило сильнее, чем от удара. Это была не ласка – это был контроль, замаскированный под мягкость, попытка убедить меня, что я в безопасности, хотя я знала, что безопаснее всего мне именно там, где опасность дышит в затылок. И я проиграла. Не потому, что он был сильнее, а потому, что на секунду поверила, что в этом прикосновении есть что-то кроме расчёта, и эта секунда стоила мне победы.

— Ты не способна на доверие, Одри. Думаешь, если спрячешься за клыки, боль отступит?

— Я научилась отдавать боль другим. Себе ни капли, – шепчу впритык, не отводя глаз, прожигая в нём дыру сво-

им взглядом.

— Поэтому влюбляешься в таких, как я?

— Я не влюбляюсь. Я выбираю, кто сможет выжечь меня до основания, – двигаюсь ближе, будто пробую огонь щекой, проверяя, сколько смогу выдержать, прежде чем кожа начнёт плавиться.

— Плохой выбор. От меня остаются только ожоги и запах горелой гордости.

— Ну давай, Клейтон. Сожги. Я горела не раз. Любовь – просто новая серия боли.

— На меня не кричат приказами, малая, – он едва наклоняется, и его голос царапает ухо, проникая под кожу, как заноза, которую невозможно вытащить. — На меня молятся шёпотом.

— Я не молюсь. Клейтон, где у тебя слабое место? Ладонь? Шея? Терпение?

— Терпение, оно рвётся быстрее всего рядом с тобой.

— Знаю.

— Ты играешь с огнём, малая. Каждый твой шаг – это удар по самому краю. Ещё немного – и я не смогу отличить желание сломать тебя от желания защитить.

Он делает полшага вперёд, не угрожая, но сокращая дистанцию до опасной, до той точки, где любое движение может стать роковым. Мои пальцы заметно подрагивают, будто сами ищут, за что ухватиться: за его плечо, за воротник, за тонкую грань самоконтроля, которая вот-вот рассыплется в

ПЫЛЬ.

— *Желание нагнуть и убить тебя граничит с безумием, — выдыхает он прямо в мои губы.*

Я медленно, спокойно провожу кончиком языка по нижней губе : — *Так чего ты ждёшь? — шепчу, почти улыбаясь. — Сделай уже выбор. Сломай. Или защити. А я посмотрю, какой из демонов в тебе сильнее».*

ГЛАВА 5 «ДЮЙМ ТИШИНЫ»

Я выбрала свою первую любовь ядовитой – и сама себе не даю забыть. С ним сердце всегда било тревогу, а душа требовала войны. Это не романтика – это как выйти без брони на стрельбище и улыбнуться мишени, будто вызов кидать самой смерти.

Самое поганое, что Клейтон ни разу не перешёл черту. Ни разу. За все эти месяцы нашей грязной, честной одержимости. Ни одного поцелуя, ни намёка на близость, будто я для него не женщина, а *«напарник в юбке»*, которого можно испытывать на предел, но не добивать. И эта выдержка бесила и жгла сильнее, чем если б он разово унизил меня на глазах у всех: было бы за что ненавидеть, было бы что закрыть внутри наглухо.

Дюйм тишины. Дюйм, который душил. Дюйм, который я готова была перегрызть зубами, лишь бы почувствовать хоть что-то настоящее, хоть каплю тепла, хоть искру, за которую можно уцепиться.

Месяцами я дрессировала себя игнорировать собственные реакции: механическая ухмылка, колючий сарказм, попытка спрятаться за холодом, будто если не покажу слабость, она исчезнет. Щит работал, но только против меня самой. Его взгляд проходил сквозь, как лезвие сквозь тонкую ткань, не рвал, а именно рассекал, оставляя ровные края, которые

потом ноют неделями. И эти полгода оставили отметины, как клеймо под кожей: невидимые, но жгучие, въедающиеся в кости.

А потом он исчез. Но прежде успел выковать из меня свою точную копию – жестокую, холодную, неспособную к жалости. Я стала его ровной тенью, монстром в женском теле – созданием из боли и презрения. Ничего живого внутри не осталось, только ярость, сожравшая всё светлое во мне, вылизавшая каждую щель, где пряталась надежда.

И только где-то под кожей всегда оставалась жгучая, запретная мысль о Клейтоне. Он не отпускал меня: его взгляд врезался в память, покрывал сны стальной плёнкой, не давая ни секунды покоя. Я делала вид, что не помню, как сердце выбивало бешеный темп, когда он приближался, – но организм помнил, предательски сжималась, выдавая меня с головой.

Сарказм стал автоматическим, как вдох. Если кто-то лез, то получал ласковую отстранённость, если пытались поддеть, нарывались на острый, почти безразличный стёб. Всё щёлкало бесчувственно, как защёлка на автомате: раз и готово, без эмоций, без сожалений.

Только ночью, когда скрежет железных кроватей глушил всё вокруг, я ловила себя на том, что снова хочу услышать его резкий голос. Снова, чтобы резко втянул меня в бой. Снова, чтобы одним взглядом выбил почву из-под ног.

Он был моим самым страшным страхом и клочком света в

этом поганом аду. Без него воздух выгорел, мир стал совсем чёрным, будто кто-то выкрутил яркость до нуля.

Я шла по этим коридорам – не человек, не призрак, а просто тень, выточенная Клейтоном. Плечи – как литые, шаги – без эха, взгляд намертво прибит к тёмной полосе между лампами: будто там, в этой узкой щели, прячется какой-то смысл. Линолеум под ногами был не просто холодным, словно высасывал тепло, оставляя одну голую сталь в костях.

Под этой броней тлело не чувство, а обугленный остаток чего-то живого. Не злость уже, не надежда, а тоска потому, кто умел смотреть сквозь меня, прямо в эту самую обугленную сердцевину, и не отворачиваться. Кто не брезговал от того, что там видел.

Слухи про исчезновение Клейтона ползли по коридорам, как тараканы по плинтусу, и каждый был острее ножа: «Отправили в цинке», «Сдох на другой стороне города», «Свалил навсегда». Каждое слово было, как щепка под ногти, тонкая, сухая, но так глубоко, что не вытащит.

Они пришли в «слепое» время, когда камеры моргают, коридоры глохнут, а охрана делает вид, что ничего не слышит. Приходят всегда тогда, когда знают: глаз меньше, а значит, можно.

— *Ну что, сучка?* – Оливер ухмыльнулся, и его зубы блестяли, как осколки стекла. В глазах: липкая, маслянистая гадость, от которой хотелось вытереть лицо, даже если он и пальцем не тронул. — *Теперь твоего психа нет. Смотри –*

никого рядом

Нейт поддакнул сбоку, облизнулся, выдавливая мерзкую смешинку, будто пробовал на вкус саму мысль о моей слабости : — *Давай, покажи, как теперь будешь выживать. Чей шалавой станешь, может, моей?*

Свен хмыкнул и встал в проход, перекрыв свет, он надеялся стать стеной между мной и выходом. Лиам тянулся ко мне уже с уверенностью хищника, который почуял кровь: даже если её ещё не было, он верил, что будет.

Я встретила их взглядом – не пустым, а тяжёлым: ни дрожи, ни мольбы, ни намёка на страх. — *Уберите руки, пока пальцы целы,* — бросила, как плевков, и в этих словах не было ни просьбы, ни угрозы – только факт.

— *Мразь,* – оскалился Оливер. Толчок в плечо: резкий, расчётливый, чтобы сбить стойку. Второй: ниже пояса, подло, грязно.

Я смотрела на них так, будто сдохну только тогда, когда сама прикажу. Ни гнева, ни слёз.

— *Держи её,* – рявкнул он Лиаму.

За секунду до того, как он схватил бы меня за запястье, тьма вернулась. Но уже не ледяная, а раскалённая, собранная, туго скрученная, как пружина. Это было то, что когда-то налил во мне Клейтон: не человечность, не доброту, а умение быть опасной. Сердце не ускорилося: стукнуло один раз, ровно, и замерло на этой частоте. Мир сузился до расстояния вытянутой руки – дальше не существовало ничего.

Левая ступня, полшага назад, правой на носке, под разворот. Плечо скользнуло к стене, чтобы обрезать угол и не дать обойти. Швабра стояла у двери кладовки: там, где её вчера забыли, будто специально оставили мне. Рука сама знала, куда тянуться, пальцы сомкнулись на шершавом дереве, как на рукояти ножа.

Лиам потянул пальцы к моей кисти. Я перехватила рукоять швабры у пола, как копьё, и рванула вперёд. Короткий толчок, замах: дерево с сухим, злым стуком врезалось в тело. Лиам визгнул: резко, тонко, как будто кто-то выдернул из него провод. Он согнулся, колени уехали, из уголка рта потекла тонкая алая струйка – он прикусил язык, когда его дёрнуло от боли. Второй удар был направлен низко, в солнечное сплетение. Воздух вышибло, он упал на бок и задёргал ногами, пытаясь поймать хоть глоток воздуха. На линолеуме остались мокрые следы, его ладони скользили по крови, которой ещё не было видно, но она уже сочилась из разбитой губы, смешиваясь с грязью этого места.

Свен уже шёл на меня: широко, кулаками вперёд, слишком уверенно, будто победа была уже в кармане. Я шагнула в мёртвую зону его удара, туда, где сила теряет направление. Локоть в переносицу. Тёплая полоска по моей коже была его кровью. Удар коленом в пах, чтобы выключить опору: он просел, плечо уткнулось в стену, рука метнулась к лицу – рефлекс сильнее воли. Я подрезала ему голень, чтобы добить равновесие, чтобы он понял: здесь нет правил, есть

только боль. Он сел на пол, и на плитке под ним расплылось тёмное пятно, будто краска потекла по швам, обнажая гниль под поверхностью.

Оливер остался один, но злость делает дурными. Он не отступил. Нырок в корпус, замах высокой дугой, чтобы снести голову. Я подняла левую, поставила блок. Пусть бьёт по кости – моя рука потом залечится. Правой держу швабру поперёк тела, как перекладину. Его кулак врезался в дерево пальцы отозвались болью. Я потянула на себя, крутанула, делая рычаг на локоть. Оливер попытался вывернуться, но поздно. Полшага и я втыкаю ему конец швабры в ключицу, не ломаю, а вбиваю боль. Он согнулся, выдохнул.

— *На колени,* – сказала я тихо.

— *Пошла ты* – начал он, но договорить не успел. Коленом он получил в диафрагму. Воздуха нет. Взгляд стекленеет, горло свистит. Я разворачиваю его спиной к стене, левой запираю его запястье, правой прижимаю палку под шею, не душу до конца, просто напоминаю, что у него есть хрящи, которые хрупче, чем ему кажется.

По моей скуле тонкой дорожкой стекала чужая кровь – кровь Свена. Тёплая, липкая, с металлическим запахом. Я не стёрла её.

— *Запомнили?* – я посмотрела поверх его плеча на остальных. — *Следующий, кто ко мне прикоснётся, я лично кастрирую.*

Лиам стонал на полу, хватая воздух ладонями, как воду,

которой здесь не было. На его пальцах темнели размазанные полосы, он цеплялся за пол, оставляя следы, как загнанный зверь. Свен сипел, утирая кровь, и не смел поднять глаза, возможно он впервые в жизни понял, что сила не в кулаках, а в праве решать, кому жить, а кому бояться. Нейт прижимал к груди руку, смотрел на меня снизу, как крыса, уткнувшаяся в тупик: без хитрости, без плана, только с животным ужасом.

Они знали, что если сейчас двинутся, то пойду дальше. И я бы пошла. Без шума, без крика. До тишины. До их тишины.

Оливер пытался произнести что-то важное, но у него не получалось. Я ослабила палку ровно настолько, чтобы слово пролезло.

— Суч ... – выдох.

— *Внятнее*, – сказала я.

— *Отпусти* – сглотнул он. — *Всё поняли.*

Он сполз на колени сам, хватая грудью воздух, и отступила на шаг, чтобы видеть всех сразу: не дать им шанса собраться.

На меня пялилась камера: красный огонёк снова загорелся, холодный, равнодушный, как глаз бога, которому плевать на мораль. Я улыбнулась ей пусто, пусть снимает, пусть кормит их «утопию» свежим видео.

— *На сегодня хватит цирка*, – сказала я. — *Отползайте. Медблок – по коридору и налево. Или прямо в стену – дальше не моё дело.*

Они замешкались, будто ждали какого-то другого финала,

где они остаются победителями. Тогда я ударила шваброй по стене: этот звук стал последней каплей. Нейт дёрнулся и пополз первым, волоча за собой страх, как хвост. Лиам покотился следом, срываясь с локтей, оставляя на полу мокрые полосы. Свен поднялся, прихрамывая, глянул на меня последний раз и отвёл взгляд. Оливер поднялся последним: молча, глотая боль, глядя поверх моей головы, будто меня тут и не было. Но его рука рефлекторно прикрыла пах.

Коридор снова стал коридором: просто бетон, плитка, лампы, запах хлорки и крови. Только дыхание в нём изменилось, пульс вернулся к прежнему: ровный, экономный.

Я приняла в себе его жестокость – не как чужую боль, а как инструмент, отточенный до бритвенной остроты. И приняла своё странное чувство к нему. Может, кто-то назовёт это любовью. Мне плевать. Для меня это – выживание. Такой же голод, который никогда не отпускает: ты ешь и не наедаешься, ты бьёшь и не становится легче. Просто наступает тишина, в которой можно сделать следующий шаг. И я делаю. Снова. И снова. Пока не останется никого, кто посмеет встать у меня на пути.

Я повесила швабру обратно, протёрла рукоять рукавом, не ради чистоты, ради привычки не оставлять следов, которые они потом превратят в правило, в повод, в оружие против меня. И пошла дальше по коридору – без эмоций, с лицом, которое ничего не выражает. Внутри кусок льда снова лёг на место, но под ним шевелилось тепло – не согревающее,

а обжигающее.

Тоска не ушла. Она стала моей кровью, текла по венам, смешиваясь с адреналином и злостью. И пусть жалость навсегда гниёт там, где её похоронил Клейтон. Здесь ей не выжить.

ГЛАВА 6 «НЕ ДОЛГ, А СМЫСЛ»

В девятнадцать меня выпускали не из тюрьмы – из могилы. Ни прошлого. Ни будущего. Ни черта за душой. Я была оружием, стёртым до металла: лезвие в платье, которое режет, не спрашивая, кого и зачем. В каждом шаге был отзвук шагов тех, кто не вышел. В каждом вдохе – привкус железа, будто мир решил напомнить, что я всё ещё на грани.

Выйдя за ворота, я увидела чёрную машину, у которой стоял человек с моей кровью. Карлос Амати. Дед, почти незнакомец, но рядом с ним страху было не за что уцепиться: спина прямая, подбородок упрямый, на пальце тяжёлый перстень с гербом нашего рода, такой был у мамы.

— *Как же ты похожа на Элис* — сказал он тихо, почти глухо.

Я попыталась выровнять дыхание, но плечи свело ледяной судорогой. Внутри всё сжалось, как перед ударом.

— **Тебе не нужна такая внучка. Я поломанная. Грязная. Лишний груз.**

Он не спорил. Коротко усмехнулся, шагнул и обнял так, что кости звякнули. Тепло и больно, как будто он хотел вбить в меня жизнь, даже если придётся ломать.

— *Ты — моя семья, и этого достаточно.*

Эти слова легли и приговором, и помилованием. Его объятия перевесили весь город, но в груди всё равно скреблось

сомнение: а вдруг я потяну его на дно?

Год в Италии оказался ширмой. В семье Амати даже солнце светит, как над кладбищем, а виноград пахнет железом и старой кровью. Карлос делал вид, что мне нужны пледы, апельсины и море, которое не спорит. Я делала вид, что верю. Мы оба умели играть. Только ставки были выше, чем хотелось признавать.

Он ходил по дому без спешки, но в каждом его шаге была привычка к власти – не к показухе, а к ответственности. Власть у него сидела в теле, как старая, удобная броня: он не размахивал ею, она просто была. Пять фраз по телефону, и ни секунды лишней. Пространство вокруг него само становилось смирным, словно признавало, кто здесь задаёт ритм, а кто лишь следует ему.

По вечерам мы молчали на террасе. Он смотрел сквозь бокал на море и будто метил другой берег своей судьбы. В такие минуты он казался не боссом, не дедом, а человеком, который слишком долго держал на плечах небо и теперь позволял себе на секунду опустить руки, но только на секунду. Потому что секунда – это роскошь, которую нельзя себе позволить.

— Думаешь, пути назад нет, Одри? Всё можно выжечь, если простишь себя.

— Прощение не мой инструмент. У меня другие инструменты. Те, что не оставляют следов. Или оставляют такие, которые не стереть.

— *Семья не долг. Семья смысл.*

Он считал, что защищает меня. На деле я прикрывала его тень. Я стала не охраной, а выключателем. Где росла тьма – я щёлкала. Без объявлений. Черта. Шаг. Точка. И каждый раз, щёлкая, я чувствовала, как внутри что-то отмирает.

Пуля в затылок, нож под рёбра, сменённый маршрут, снятый хвост, переставленные люди и удар в пустоту. Ночь, порт, лестница без ламп: вошла, сделала, ушла. Он всё знал, и закрывал глаза – не от слабости, от понимания: компрессом этот мир не лечат. Тут нужны швы. А иногда – ампутация.

Когда я возвращалась, он смотрел на мои руки. Не на оружие, не на кровь, а на мои руки, будто в них можно было прочесть, сколько во мне ещё осталось живого. И каждый раз в его взгляде мелькало что-то, от чего хотелось отвернуться: жалость, смешанная с гордостью. А я не хотела быть ни жалкой, ни гордой. Я хотела быть полезной. Смертельно полезной.

— *Моя девочка, не делай из себя камень. Камни тонут.*

— *Я и так на дне.*

Он качал головой. Властный и упрямый, но милосердный. В этом доме я училась заново. Резать хлеб, не контролируя спину. Пить кофе, сидя не у стены. Закрывать глаза на шум моря, а не на шаги в коридоре. Собаки перестали рычать, когда я проходила. Масло пахло солнечной пылью, а не

гарью. Но я всё равно ловила себя на том, что прислушиваюсь к тишине: вдруг она станет предвестником беды?

Иногда с меня слезила броня, тонкой чешуёй. Я ловила его дыхание и у меня выравнивался пульс. Италия вытесняла из меня ржавчину. И вместе с ней – Клейтона. Не сразу. Сначала как отдалённый стук под рёбрами. Потом как тень, которая укорачивается к полудню и наконец исчезает. Я всё ещё помнила, кого похоронила. Но жалость не имела права вернуться. Чувства к нему разжались усталым выдохом, будто из меня выкачали воздух, без которого я не могла дышать.

Я любила Карлоса просто. Без липкой детскости, без чужих фантазий. Он — мой дед. Точка. И мой дом – первый, который не был источником боли. Но даже здесь боль находила лазейки.

— Ты сильнее своей тьмы, – говорил он. — *Сила не ломать. Сила не сломаться.*

— *Пока на нас охотятся волки,* – усмехалась я, и в этой усмешке была та самая привычка к боли – привычка, выточенная на рёбрах, как зарубки, по которым считают, сколько раз ты уже смотрел смерти в глаза. Кровь уже почти стала для меня чемто обыденным, как дождь, который просто моет, не спрашивая, хочешь ты этого или нет.

Он оставался властью до конца: один его звонок раздвигал пробки, одна пауза обнуляла плохо начатый разговор. Но если напротив садился мальчишка с улицы, Карлос убирал перстень в карман, снимал пиджак, ставил тарелку супа.

« — Ешь. Потом поговорим».

И это «ешь» стоило дороже легенд про его власть. В нём было что-то почти священное: забота, которая не просит благодарности и не ждёт её.

Однажды я застала его в кабинете, когда он думал, что один. Он стоял у окна, и в тот момент он не был ни боссом, ни дедом – он был просто стариком, который устал держать лицо. Плечи чуть опустились, пальцы сжали подоконник так, что костяшки побелели, а взгляд ушёл куда-то далеко, туда, где время не имеет значения. Я хотела уйти, не мешать, но он будто почувствовал моё присутствие и тихо сказал, не оборачиваясь:

— Знаешь, Одри, самое тяжёлое не отдавать приказы. Самое тяжёлое знать, что каждый приказ ломает чью-то жизнь. И всё равно отдавать их.

Я не знала, что ответить. Впервые я видела его не как стену, о которую можно опереться, а как человека, который сам опирается на эту стену, чтобы не упасть. И от этого становилось страшнее: если даже он держится из последних сил, на что надеяться мне?

— Почему ты не бросаешь всё? – спросила я, и мой голос прозвучал непривычно мягко, почти по-детски.

Он наконец повернулся. В его глазах не было усталости, там была тяжесть, которую он носил как плащ: тяжелый и колючий.

— Потому что, если я брошу, придут те, кому пле-

вать на детей и стариков. Те, кто не знает слова «нельзя». А язнаю. И пока я могу говорить это слово, я буду. Даже если ради этого придётся стать тем, кого будут ненавидеть.

Он подошёл ко мне и положил ладонь на моё плечо: не крепко, как раньше, а осторожно, будто боялся, что я рассыплюсь.

— Ты думаешь, я держу эту семью из гордости. Нет. Я держу её, потому что знаю, как быстро мир становится зверем, если никто не держит поводок. И если однажды поводок придётся передать тебе – ты должна быть готова.

В тот вечер я впервые поняла: его сила была не в том, что он мог сломать. Она была в том, что он не позволял миру сломать тех, кто слабее. Даже если ради этого ему приходилось быть жестоким. И в этот момент я поняла: да, я готова быть не просто страшной – я буду жестокой до дрожи, такой, что любого, кто сунется, кишки в узел скрутит, а из глотки вырвется не крик, а хрип.

Я посмотрела на свои руки, на них ещё не было свежей крови, но это был лишь вопрос времени, жалкая отсрочка перед тем, как мир заставит меня мारать их по-настоящему. В груди не было ни страха, ни дрожи, только холодная, злая готовность, острая, как лезвие, что режет без жалости. Мир не ждёт, пока ты созреешь для жестокости. Он бьёт первым: грязно, без предупреждения, в самое уязвимое место. И если

не ударишь в ответ, сломаешься. А я не хотела ломаться. Я хотела ломать сама.

Карлос всё ещё держал ладонь на моём плече, и в этом осторожном касании было больше приказа, чем в любом его холодном распоряжении. Он не просил меня становиться монстром. Он просто знал, что монстр – единственное, что удержит других монстров подальше.

— *Ты справишься*, – тихо сказал он, будто читал не мои мысли, а ту тьму, что уже прорастала под кожей, разъедая остатки мягкости.

Я кивнула. Слова были лишними.

За окном море билось о скалы, будто торопило ночь. Тени в комнате стали гуще, будто сами ждали, когда я сделаю шаг. И я сделала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.